

РОМАН СЕНЧИН



ДОМА

РАССКАЗ

В отличие от староверов, таёжников, пахари селились в местах не укромных, не богатых лесом и зверем, а на просторе, чтоб было где хлеб растить, скотину нагуливать.

В таком-то месте, не слишком живописном, но удобном, — в широкой долине меж двух горных хребтов — возникло село Туранское, нынешний город Туран.

У пролетающих мимо по трассе городок этот не вызывает интереса. Так, скопление домишек, жидкие деревца. Летом — палящее солнце, зимой — чад от печей, пепельный снег... Да, интереса не возникало, а вот сожаление появлялось: как же тоскливо здесь людям живётся...

Конечно, если ничего не делать, живётся тоскливо. Самой природой место создано для труда, а не для праздности.

В последние годы Анна Семёновна Верясова всё чаще пыталась представить, что почувствовали, увидев долину, те первые пять семей, с которых в 1885 году начался их Туран — русское поселение за тогдашней границей России.

Конечно, пришли сюда не наобум: бывали в долине казаки и купцы, что-то рассказывали, наверно, тувинцы-кочевники, китайские пограничные офицеры, пойманные бутровщики — разорители древних могил, — староверы-разведчики, искавшие укромные места для переселения...

СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1972 году в городе Кызыл Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые публикации в Москве — в журнале “Наш современник”. Автор романов “Минус”, “Нубук”, “Ёлмышевы”, “Информация”, сборников рассказов “Иджим”, “День без числа”, “Абсолютное соло” и др. Живёт в Москве.

Да, пришли первые семьи, представляя, что здесь за земля, и всё же... В архивах двух ближайших городов — Кызыле и Минусинске — Анна Семёновна читала документы об основании Турана; находила кое-что в книгах по истории Тувы и юга Красноярского края, но цифры, значительные события, записанные сухим, протокольным слогом, не помогали нарисовать картину, догадаться о чувствах.

Они, те люди, не вели дневников, не писали писем. Они трудились с восхода до ночи, рожали детей, расширяли пашни, увеличивали стада коров, гурты овец. Обживали этот дикий, безлюдный клочок земли меж двух хребтов, делали его родиной для будущих поколений.

Возвращаясь из-за Саян, Анна Семёновна всегда начинала волноваться, когда машина спускалась с перевала Нолёвка. Дорога извивалась, петляла, по её обочинам торчали тонкие, кривые листовенницы. Сначала их было много, они покрывали все склоны и ущелья, но вот на секунду-другую — и разглядеть ничего не успеваешь! — сквозь стволы и ветки начинала пробиваться бесконечная, неохватная взглядом даль. Машина ныряла в очередной лог, и погружалась летом в зелёное море, зимой — в бело-серое: снег, голые деревья... Новый подъём, сердитое урчанье мотора, надсадное переключение скоростей, и машина выбирается на последнюю гору перевала, и эта необъятная даль впереди и внизу ударяет в глаза, приковывает к себе.

Водители часто останавливаются в карманах дороги, дают пассажирам полюбоваться этим не совсем земным пейзажем. Степь, но не ровная, плоская, а морщинистая, с каменистыми, похожими на курганы, холмами; может быть, это и есть курганы — дальше в степи есть Долина царей, где археологи нашли ценнейшие сокровища...

Крошечные колки во впадинах; прямая нить дороги, разрезающая долину; спички телеграфных столбов. И вдалеке — прямоугольник из дворов и домов — городок Туран.

Но главное, что заставляет смотреть и смотреть, — воздух. Он всегда там, внизу, будто дрожит, шевелится. И в мороз, и в зной. И держится таинственное, скрывающее пространство беловатое марево...

Анна Семёновна всё старается представить, какими глазами смотрели на эту долину первые переселенцы, что думали, стоя здесь, на перевале. Были ли уверены, что обретут долгожданную свободу — свободу быть вольными хозяевами, или содрогались от страха вероятной гибели на чужой, нероссийской земле?

Долгие недели со скудными пожитками, инструментом, сохами двигались они сюда из переполненной Минусинской котловины, миновали занятые, поделенные до них равнины вокруг Каратузской станицы, удобницы вдоль реки Ус, преодолевали бешеные горные реки, карабкались по вьючным тропам на крутяки и осторожно спускались в тёмные ущелья. И вот добрались. И осели здесь. Приволокли из тайги брёвна и срубили избы, огородили дворы крепкими, надёжными, как частокол, заплотами. Так возникла деревенька, которую по названию протекавшей рядом речки Турану называли Туранской.

Следом покатались новые волны переселенцев. Строились новые дома. Появилась церковь, и деревенька превратилась в село. Открылась школа, приехал врач.

Когда свободной земли вокруг Турана не стало, в десяти километрах от него возникло второе русское поселение в этих краях — Уюк.

Население Турана и Уюка умножалось чуть ли не ежегодно — безземельные крестьяне, гонимые староверы, разные бесприютные люди выплёвывались тогда из России щедро. Перебравшись через Саяны, подкупив местных тувинских князьков-нойонов, они занимали пустующие десятины. Ещё до принятия под протекторат Россией Урянхая — будущей Тувы — появились Макеевка, Знаменка, Грязнуха, Бояровка, Медведевка, Фёдоровка, Даниловка, Атамановка, Верхне-Никольское, Нижне-Никольское, Березовка, Сосновка... Сразу после введения протектората в 1914 году на месте слияния Большого и Малого Енисеев был основан Белоцарск — административная столица Урянхая, — переименованный позже в Кызыл...

Теперь почти у всех этих поселений тувинские названия, да и русских там почти не осталось. В начале девяностых внуки и правнуки переселенцев покатались в обратную сторону — через Саяны на север, в нынешний Красноярский край, в Хакасию, а оттуда дальше, на запад, в основном в крупные города: Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Петербург, Москву... Разъехались, расплылись по огромной стране, да и по миру, забывают слова, которые существуют лишь здесь, на стыке тюркского, русского и монгольского миров, обычаи, теряют связи, перерождаются. Ещё десяток-другой лет — и, вполне возможно, исчезнет понятие “русские Тувы”, как уже почти что исчезли “русские Чечни”, “русские Дагестана”, “русские Кабарды и Балкарии”. Русский мир снова скукоживается, как невыделанная шкура на печке...

* * *

Анна Семёновна Верясова родилась и почти всю жизнь, с перерывом в несколько лет, прожила в Туране.

После школы поступила на химический факультет Иркутского университета — очень хотелось заниматься сложной, настоящей наукой. На каникулы приезжала домой, томилась недели в родном скучном, одноэтажном городишке. Десять минут в любую сторону от дома — и вот она степь, колючий ковыль, горы сторожат, чтоб не сбежала.

Окончив университет, в науку не попала, почти четыре года проработала в Красноярске на каучуковом заводе, а потом уволилась и вернулась в Туран.

Здесь пригодился не диплом химика, а опыт участия в студенческой театральной студии. Анну выбрали художественным руководителем существовавшего лишь на бумаге Народного театра.

Она принялась за дело с усешкой, слабо веря, что может получиться что-то стоящее. Скорее от какой-то безысходности и обиды на судьбу согласилась.

И вдруг — да нет, не вдруг, просто, наверное, юность с её тягой к большому, далёкому, кончилась — Анне открылось, что в их забытом Богом Туране полно интересных, талантливых людей. Не только одарённых от природы актёров, но и умных зрителей. Какие обсуждения происходили! Хотя в журнале “Театр” печатай...

Во время обсуждений Анна познакомилась с Павлом Верясовым, недавно приехавшим в городок учителем географии. Павел стал её мужем, родилось трое детей...

Со спектаклями театр объездил всю республику, участвовал во многих фестивалях. Даже специалисты не верили, что играют обычные трактористы, доярки, дорожники, военком, нянечка из детского сада, а режиссёр — химик по образованию...

Анна с детства жила в несколько другом мире, чем большинство туранцев. Слегка в стороне. Она была правнучкой Григория Петровича Сапронова, минусинского купца, который в восемьдесят пятом году девятнадцатого века получил разрешение организовать на месте нынешнего Турана факторию, вокруг которой и поселились те первые крестьянские семьи.

После того как Григорий Сапронов состарился и перестал выезжать из Минусинска, управлять факторией — тогда уже двухэтажным “торговым домом” — стал дед Анны Семёновны Игнатий. Было это перед революцией.

Он, как и его брат, Дмитрий, будучи купцом, увлекался марксизмом, симпатизировал социал-демократам, а потом и большевикам. В партию, правда, Игнатий Григорьевич не вступил, в отличие от брата, и это, может быть, уберегло его от репрессий тридцатых годов. Дмитрий же, комиссар партизанского отряда, а затем партийный работник, был расстрелян и лежал теперь в братской могиле на территории Донского монастыря в Москве...

Власть во время гражданской войны менялась в Минусинске и Урянхасе многократно. Игнатий Григорьевич несколько раз был на грани смерти — переболел тифом в тюрьме, его зверски избивали и колчаковцы, и земляки-

казаки, да и красные как-то раз чуть не поставили к стенке, приняв из-за пенсне за буржуя... Он не остервенился, призывал и тех, и других не проливать кровь понапрасну. Спас немало людей, например, притавшегося в Уюке колчаковского полковника Янчевецкого — будущего писателя Василия Яна, художника Григория Гуркина, алтайца, которого вихрь войны забросил в Туву.

В Туране родилась Мария, младшая дочь Игнатия Григорьевича, мама Анны. Когда её отца в тридцать пятом году выслали из Тувинской Народной Республики, независимости которой он сам сильно поспособствовал, но позже сделался неудобен, Мария осталась здесь — только-только вышла замуж за члена сельхозартели “Красный пахарь” Семёна Васильева.

Игнатий Григорьевич поселился под Москвой, мечтал вернуться в Сибирь, но не получилось — до самой смерти в начале пятидесятых находился под необъявленным, но строгим домашним арестом.

Отца Анна не помнила. Когда появилась на свет, третьим и последним ребёнком в сорок четвёртом году, Семён Васильев уже был убит где-то на западе Белоруссии... Долго его берегли местные начальники — был отличным работником, знал трактор до винтика, — но, в конце концов, он всё же добился отправки на фронт. И очень быстро пришла на него похоронка.

В родовом доме Сапроновых ещё в двадцать третьем году был организован Дом крестьянина; дед, говорили, не сопротивлялся, то ли с искренней радостью, то ли с показной переселился с семьёй в избу, где раньше жили работники... После отъезда деда с бабушкой и почти всего семейства и эту избу Сапроновы потеряли.

Но кое-какая фамильная мебель, посуда, дорогие сердцу мелочи у Марии сохранились. Одно — в качестве приданого, другое передали родители. И тесную, с низким потолком избёнку Васильевых эти вещи — абажур, фотокарточки в рамках, резной буфет, кофемолка, венский стул — делали почти городским жильём. Наверное, они, да и купеческие корни ещё в раннем возрасте повлияли на самоощущение Анны: она, вырастая, по сути, в деревне, получилась не деревенской, а городской; занимаясь крестьянским трудом, душой жила чем-то иным. И в итоге стала одной из очень немногих в их избяном, огородном Туране интеллигентной женщиной.

* * *

Чем сильнее опутывала её немощью и болезнями старость, тем чаще Анна Семёновна вспоминала детство. Чаще всего в воспоминаниях появлялись бабушка и дедушка — родители отца, Агриппина Даниловна и Максим Макарович. Может, потому что она была младшей из внучат, никогда не знала родного отца, они были с ней особенно ласковы... Мама много работала, часто и подолгу ездила по району, и лет до десяти Анна видела её урывками, успевала от неё отвыкнуть. А бабушка с дедом всегда были рядом...

Вот она, лет четырёх, не больше, лежит в кровати. Дрожит. Холод щиплет её, кусает. На дворе, наверное, страшный мороз — окна все заросли бугристым льдом. Бабушка приложила к боку большой — на полкухни! — печи одеяло. “Счас, ласточка, — приговаривает она, — счас хорошо-о те будет”. Торопливо переставляя толстые, опухшие ноги, подходит с одеялом к кровати и заворачивает, как пеленает, Аню. И становится ей настолько приятно, уютно, спокойно, что она засыпает мгновенно. Как в тёплое масло ныряет...

И снова бабушка. Заваривает пахучий чай на смородиновых листьях в высокой фарфоровой чашке... Ане не нравится вкус этого чая — ей вообще пока не нравится чай, он для неё горький и вяжущий, но этот запах... Она дышит им и не может надыхаться... И ещё — дымок углей в самоваре. Настоящем самоваре, вскипятив воду в котором была целая история...

А это деда — длинный, костистый, с окладистой бородой и мохнатыми ушами. Сидит на низенькой табуретке, зашивает кривой иглой лопнувшую кожу на сапоге. Зашивает, приговаривает, будто заклиная обувь: “Ишо по-

служат... чего ж... добрые ишо... послу-ужат". Да, тогда и обувь, и одежда, и всё остальное служило долго. А теперь говорят: легче новое купить, чем с ремонтом возиться. Это относится и к сандаликам каким-нибудь, и к автомобилям...

А вот уже школа. Класс второй или третий. Что-то нашло на ребят, и они на уроке вели себя очень плохо, будто сбесились. Учительница пообещала вечером обойти родителей и всё рассказать. И как дружно ребяташки безобразничали, так дружно и струсили. И решили уйти. Далеко — в пустующий балок на полях. Поселиться там — печка есть, на ней трактористы себе кашу варили; будут зайцев ловить, ими питаться... Никто не отказался, все пошли. И поздняя осень не испугала.

По дороге собрали по карманам копейки, купили две булки хлеба.

Прошагали километров пять, устали — у каждого сумка с учебниками, — замерзли, проголодались. Съели хлеб — жажда напала; увидели, что начинает темнеть, и повернули обратно.

Ещё задолго до первых домов заметили мечущиеся по степи огни, услышали топот копыт по мёрзлой земле... К ним подскакали: "Вот вы, субчики! Все целы? А?" — "Все", — хмуро, видно, поняв, что наказания не миновать не только за баловство в школе, но и за неудавшийся побег, отозвался заводила класса Кешка Килин. "Слава Богу, — выдохнул один из верховых. — По домам бы-стро!"

В начале своей улицы Аня столкнулась с мамой. В бледном свете окон неспящих изб увидела, как за мгновение несколько раз успело измениться выражение маминого лица: тревога, радостный испуг, растерянность, обида, гнев...

"Мамочка, — Аня ткнулась ей в живот, — я никогда больше... Я всегда с тобой буду".

Всегда—не всегда, но маму она не бросила. И сейчас они рядом: раз в неделю, не реже, Анна Семёновна приходит на кладбище, прибирает могилки родных, сидит на лавочке возле маминой. Читает три простых, но таких дорогих слова — "Васильева Мария Игнатьевна", — отнимает и отнимает от правой даты левую. Всё время получается всего сорок семь лет.

Уже почти на четверть века Анна Семёновна старше своей мамы, но сейчас, здесь, чувствует себя беспомощной, несмышлёной, ещё и не начавшей всерьёз жить, но и уже какой-то обессиленной девочкой.

* * *

Нет — было, было. Много было всего. И есть. Главное, дети есть, трое, пятеро внуков. И все рядом, не разбежались. И любимое дело даёт силы — Анна Семёновна директор музея.

Пришла туда — в то время филиал республиканского — простой сотрудницей. После руководства Народным театром это было очевидное добровольное понижение, но театр хирел, и ничем положение исправить не удавалось. Равнодушнее стали люди как-то моментом, попрятались за своими воротами. Ни на собрания не вытащить, ни на праздник, ни на поминки. Да и понятно — у большинства телевизор появился — великая сила. Омут. В телевизор таращась, можно всю жизнь прожить. Не прожить, а продремать, наблюдая за чужими жизнями...

Сколько раз накануне спектакля Анна Семёновна бегала по дворам, звала, уговаривала. В ответ: "Постарайся, постарайся". А зал их большого, современного Дома культуры "Колос" в итоге пустой... Анна Семёновна написала статью "Для кого играем?" в республиканскую газету — крик отчаяния, а не статью. И никакого результата. Ну, и уволилась.

В музей, конечно, тоже не ломились. Но посетители — это лишь одна сторона, а другая, может, и главная, — научная работа.

Тогда, в начале восьмидесятых, хотя и еле заметно, почти неощутимо, что-то дрогнуло в идеологическом монолите. И шло это от простых людей, в первую очередь, от стариков.

Вдруг оказалось, что не все в гражданскую войну были красными, не всех перевоспитали почти семьдесят лет советской власти. Дети и внуки зажиточных туранцев стали вспоминать с обидой, какие стада были до революции у их семей, мельницы на реке, пашни, усадьбы... Старик Глушаков вылезал на лавку у калитки в дырявой от ветхости казацкой фуражке и с георгиевским крестом на пиджаке.

Председатель сельсовета, когда увидел, глаза чуть не потерял, от гнева затопал ногами: “Дед! Ты чего это нацепил?!” И уже ринулся было срывать орден, а Глушаков выхватил из-под зада журнал и ткнул чёрным ногтем в фотографию: “Гля-ка, ваш маршал Будённый с крестами. А мне чё — нельзя?”

На фотографии Будённый в маршальском мундире держал в руках френч с наградами царских времён, а на них уважительно смотрели советские солдатики. Фотографию сопровождала статья с названием “Героическая эстафета поколений”.

Председатель отступил, произнёс бесполезную уже угрозу: “Значит, наш Будённый? Не твой, значит... Добро, запомним”.

Но ничего Глушакову не сделали — какой спрос с почти девятидесятилетнего старика?.. А вот пример его оказался заразительным: тут же и вполне ещё молодые мужики открыли, что они из казаков, принялись отращивать усы, учиться, как следует держаться в седле, джигитовать... В избах появились красные углы, пошёл шелест пожеланий неизвестно кому, что надо бы церковь поставить. “Была святого Иннокентия церква. Сожгли коммунисты”. И в слове “коммунисты” слышалась неприкрытая враждебность, будто в родне шелестящих не было коммунистов, советских активистов, а сами они в большинстве своём не состояли в молодости в комсомоле.

Приезжавшие из-за Саян сообщали, что на берегу Уса, напротив скалы Сахарная Голова, появились букеты цветов и даже венки. Все знали, что на этой скале во время гражданской войны был уничтожен отряд казаков и добровольцев, пытавшихся остановить армию красных партизан, шедших с севера в Урянхай. Красные окружили отряд; те, кто решил не сдаваться в плен, поскольку понимали, что их ждёт, прыгали в Ус и, конечно, разбивались в мелкой, каменистой реке...

Изменилось тогда, в начале восьмидесятых, отношение и к Анне Семёновне. Одни смотрели на неё волком как на внучку большевиков, другие — с почтением — как на внучку купцов, до поры до времени бывших хозяевами этих мест.

Несколько раз подходил старый тувинец Чеспей-оол, который когда-то подростком был чабаном у Игнатия Григорьевича, гонял по степи овец... Прихватывая Анну Семёновну за локоть, Чеспей сипел остатками связок: “Мы тогда-то с Игнатий Григорычи всё золот прятали. В этом пещере, там, — махал свободной рукой на горы. — Многа золот прятали. Многа было. Забрать нада. Пора стала”.

Анна отшатывалась от него, как от сумасшедшего. Лишь много позже, когда Чеспей умер, раскаялась, что не выслушала нормально. Если правда про золото, то сколько экспонатов в музее могло прибавиться! Пусть не в своём — для этого охрану нужно усилить! — но в республиканском... Хотя вряд ли дедушка что-то прятал, не такой он был человек. А с другой стороны... Ни в чём Анна Семёновна не была теперь уверена, наблюдая за знакомыми с детства земляками.

Все эти перемены в людях удивляли и пугали её, тогдашнюю молодую, но уже пожившую женщину. Ничего подобного в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы не было. Или же надёжно скрывалось. Может, все эти долгие десятилетия собирались тот же Глушаков и его сверстники где-нибудь за баней и ждали, когда старая власть вернётся; может быть, и готовились...

Работа в музее, изучение минусинских, кызылских архивов многое ей не то чтобы объяснило, а открыло. Узнала она, как страшно было жить в то время — после революции, как тяжело было выбрать правильную сторону, чтобы попросту уцелеть. А ведь немало появилось идейных. И с той,

и с другой стороны. И у той, и у другой стороны была своя правда. И билась насмерть.

Анна Семёновна решила: если не защищать, то говорить об этих двух правдах, будущим поколениям показать людей, отстаивавших каждый свою правду, необходимо.

И она стала писать очерки о красном командире Сергее Кочетове и о есауле Бологове, о комиссаре Временного правительства в Урянхайском крае Турчанинове и о первом председателе совета министров Тувинской Народной Республики Буяне-Бадыргы, о годах, проведённых в революционной Туве писателем Василием Яном, художником Гуркиным, востоковедом Алексеем Бурдуковым, о командире сибирского “Железного потока” Кравченко и генерале Бакиче, который со своим огромным, но голодным, почти безоружным отрядом пытался в декабре 1921 года занять столицу Тувы, чтобы перезимовать, а если получится — осесть там, в котловине Саян, основать своё маленькое государство.

Десятки и десятки фамилий, иногда даже без инициалов, встречавшихся Анне Семёновне в документах и исторических книгах, после упорных розысков превращались в портреты людей с особенными судьбами. Большой частью трагическими судьбами. Становилось страшно: если их Туве и её окрестностях, где и людей-то жило с гулькин нос, они превращались в такой кровавый клубок, то что было по остальной стране...

Многих земляков возмущала эта её, как они говорили, всеядность. Люди не понимали, как можно одновременно добиваться строительства церкви и собирать материалы к биографиям первых комсомольцев?.. “Твоего родного деда эти комсомольчики отсюда выслали, двадцать лет потом он по ссылке мотался. Сродного деда свои же расстреляли. А ты им песни поёшь. И-и!” — стыдили одни. “Этот Ян — из колчаковцев. И что, что потом книжки стал сочинять. Ты знаешь, чего тут колчаковцы вытворяли? Казаки... Зверями были”, — доказывали другие.

Анна Семёновна мучительно искала ответ и, наконец, нашла те слова, что примирили враждующие половины внутри неё самой: “Для истории важно всё и все. Моё дело — сохранять всё и всех”.

Конечно, звучало это чересчур патетично, но на людей, кажется, действовало. Негодующих становилось меньше и меньше.

Впрочем, быть может, не её слова действовали, а время снова стало меняться — после лихорадочных, бурных, а под конец и горячих восьмидесятых наступили девяностые. Народ бросился зарабатывать деньги, появились фермеры, новые купцы, промышленники... Потрепыхавшись года три и оказавшись у разбитого корыта, в колодах долгов, многие перестали чем-либо интересоваться, рвать жилы и глотку.

Одни тихо пили, другие вместо десятков гектаров возделывали свой огорошко, вместо стада коров ходили за одной. Третьи вовсе уехали, убежали.

* * *

В восемьдесят седьмом Анна Семёновна была назначена директором музея. Вернее — Туранского филиала. Вскоре её усилиями музей стал самостоятельным. Это отделение было нужно не для простого повышения статуса — появилась возможность без согласований пополнять фонды, ездить на конференции, составлять планы и программы.

Анна Семёновна взялась за дело с жаром и энергией. Многого успела до всеобщего обнищания и одичания. В первые годы с размахом проводились Яновские чтения в селе Уюк. Анна Семёновна была их организатором. Приезжали писатели и литературоведы из Москвы, Ленинграда, Киева, Ашхабада, Ташкента, Минусинска — тех городов, где жил Василий Ян. Сотни читателей собирались. Возникла идея создать в маленьком Уюке Культурный центр дружбы народов. Построить светлое здание, проводить там конференции, открыть библиотеку книг по истории Азии... И уже почти решился этот вопрос.

Но бахнул девяностый год — страшный год для Тувы. Произошло несколько стычек на национальной почве, раздавались призывы, причём и от известных в республике людей, отделиться от СССР, снова стать независимым государством.

В тот август на чтения почти никто не приехал — отговаривались занятостью, нездоровьем, отсутствием денег, но ясно было, что ехать им попросту страшно... На несколько лет чтения стали мероприятием для нескольких человек. Хотя бывали неожиданные гости, например, в девяносто втором году приехал туркменский поэт Кокабай Курбанмурадов. Как он добирался из Ашхабада — целая *одиссея*! Но добрался, даже две дыни привёз... Но и позже, когда напряжённость спала и появились деньги, на прежний уровень чтения вывести всё равно не получилось: другая эпоха настала.

О культурном центре новое руководство республики не хотело и слышать: “Зачем такое в Уюке? Сколько там жителей? Меньше тысячи? И отток происходит... Такому поселению и клуба достаточно”. И как ни доказывала Анна Семёновна, что открытие культурного центра, конференции, выставки, чтения наверняка приведут к возрождению всего села, что издревле люди приходили и селились вокруг церквей, хурээ, культурных памятников, не помогало. Начальству удобнее всё стягивать в столицу республики, чем облагораживать маленькие городки, посёлки. Впрочем, такое, как она замечала, происходило по всей стране; хотя бывали и исключения: в какой-нибудь почти погибшей деревушке появлялось подворье монастыря или открывался музейчик, и деревня возрождалась...

Да, не всё удалось сделать, но многое получилось, многое сохранено, спасено её, Анны Семёновны, усилиями. Подбирала со свалок старые вещи, одежду, а теперь кое-что из этого в числе экспонатов, и те, кто лет двадцать назад, молодыми, после смерти стариков выбрасывали рухлядь, теперь, постарев, умиляются: “Бабушкина прялка... Дедов башлык... Сундук наш, полкомнаты занимал, мешался, а оказывается, красота-то какая...” Анне Семёновне приятны и ценны эти слова — она словно видит их, эти нити живой памяти.

* * *

Встаёт по-деревенски рано. Живёт одна — муж давно умер, у детей свои дома. Греет воду, замешивает свинье, сыплет курам дроблёнку. Потом пьёт чай, читает. Просматривает почту в компьютере... Интернет — великая вещь. Конечно, по-настоящему ценных материалов там найти почти невозможно, но некоторые ориентиры поисков определить можно. И — общение. Раньше пишешь письмо, бросаешь конверт в ящик и ждёшь с месяц, когда придёт ответ. А теперь — минута. А по “скайпу” вообще разговаривай, спорь, будто за одним столом находишься. Ты здесь, в Туране, а собеседник за пять тысяч километров... А с другой стороны, меньше стали собираться...

Было когда-то хорошее слово — “сидим”. Когда никуда не торопишься, на столе что-нибудь вкусное — пироги, шанежки, пельмени, пахучий горлодёр; и бутылочка не лишнее. В печке дрова пощёлкивают, ароматная от еды, одеколona, здорового пота духота. И даже когда наговоришь какой-нибудь задумчивой глупости, потом не стыдно. Наоборот, ощущение радости и облегчения наутро. Хорошо было. “Хорошо посидели”.

Перед выходом хоть в магазин, хоть к детям и внукам, хоть на работу или ещё куда Анна Семёновна тщательно собирается. Лахудрой ни разу за ворота не выбегала. Знает: каждую встречу с ней большинство туранцев потом обсуждают как значительное событие.

Идёт по дощатым тротуарам без торопливости, держа спину. Летом носит обычно широкополую соломенную шляпу, зимой — лисью шапку с длинными ушами-шарфом.

Улицы в Туране прямые, широкие, а дома разные. Есть белёные засыпушки, уродливо облепленные глиной хибары, несколько юрт, но уже не войлочных, а деревянных, с оконцами, советские коттеджи на две семьи

и новые коттеджи, кирпичные, богатые; появился недавно местный небо-скрёб — четырехэтажная благоустройство с балконами.

Но попадаются и настоящие, из толстых, чёрных от старости брёвен избы. Окна со ставнями, на некоторых ставнях ещё сохранились стальные пластины и штыри: было время, когда каждый дом на ночь превращался в крепость. Ставни закрывали не просто на крючок, как сейчас, а стягивали пластиной, штыри же просовывали сквозь брёвна сруба и закручивали изнутри болтами. Дверь закладывали толстой доской... Много было лихих людей.

Теперь тоже случаются и воровство, и грабежи, и убийства, но всё же не так. Бережливее, что ли, люди стали друг к другу, уважительнее к чужо-му хозяйству...

Встречные или обгоняющие приветствуют Анну Семёновну: “Здравствуйте!.. Доброго здоровья!.. Эки, дарга Семённа!..” Она глубоко кивает в ответ, как бы кланяется: “Здравствуйте, здравствуйте”. Если попадают знакомые, и лица их добрые, приглашает в музей. “Приходите. Улица Дружбы, дом сорок четыре. Там вся история Турана нашего”.

Главное дерево на улицах — лиственница. Аккуратные ряды. Зимой от лиственниц мало веселья глазу — серые стволы, голые ветки. Лишь кое-где висят кругляши расщепленных шишек. Но в середине апреля после одной тёплой ночи ветки будто кто обрызгивает салатовой краской, и сразу ударяет в грудь тихая радость: весна.

Зеленоватые точки быстро превращаются в усики, и вот всё дерево оживает... Анна Семёновна помнит ярко, точно было это совсем недавно, как в детстве они с ребятами обрывали с нижних веток кислотоватую молодую хвою, совали в рот. Взрослые не ругали, сами жевали иногда. Если что, оправдывались: “Чего — витамины сплошные”.

В палисадниках растёт в основном черёмуха. Её едят и так, с куста, и заготавливают впрок. Кому не жалко мясорубок — крутят, измельчая косточки, перетирают с сахаром, а потом начиняют пироги, другие — сушат, заваривают зимой, пьют, как чай, или толкут в муку. Очень вкусные торты с такой мукой — незнающие люди, попробовав, с удивлением спрашивают: “Это какао такое необычное? — Но, — кивают шутливо местные, — наше какао — черемухова мука”.

Асфальта в Туране мало, улицы грунтовые, укатанные плотно, несколько горбом. Дождевая и талая вода стекает в канавки под тротуаром. Названия улиц незамысловатые: Октябрьская, Комсомольская, Советская, Красных Партизан, Ленина, Молодёжная, Спортивная...

Анна Семёновна останавливается на очередном перекрёстке передохнуть. Оглядывается. Края города видны во все четыре стороны. На севере и юге — горы, вершины их сливаются с облаками. За горами на севере — Минусинск, на юге — Кызыл. Два больших по здешним меркам города, две в своём роде столицы. Кызыл — тувинская, Минусинск — русская... На востоке — речка Туран, лесочки, холмы, а дальше — тайга, Бий-Хем — Большой Енисей, снова тайга и горы до самого Байкала. На западе — поля, переходящие в солончаковую степь. Там, в степи, солёные озера, курганы. Некоторые курганы изучили недавно археологи, нашли древние захоронения условных скифов. “Условных” потому, что неизвестно, что за народ жил здесь шесть тысяч лет назад, на каком языке говорил, куда делся, оставив лишь шесть могилы. Но — жил. И так хоронил своих мёртвых, что и через шесть тысяч лет они сохранились. С оружием, бусами, чашами для вина.

Сгинул тот народ, его место занял другой. Потом ещё, ещё. Воевали, гонялись друг за другом по этому распадку меж горных хребтов, строили жилища, рыли каналы, пахали землю, пасли скот...

Сто тридцать лет назад пришли с севера русские. Отсюда двинулись дальше — на юг, на запад, восток. Построили десятки сёл, деревень. Большинство их уже оставлены, но Туран ещё держится. Много Анне Семёновне встречается светловолосых голов, славянских лиц. И она, медленно двигаясь по маленькому родному Турану, мысленно повторяет: “Я дома... дома”.